


Пусть бурлит во мне кровь
весь мой жизненный срок!
Пусть от хмеля мечты
я всегда буду пьяным!
И обитель души моей –
глины комок –
Пусть не сгинет
во прахе покинутым храмом!¹

Глава 1

н отпер дверь своим ключом и вошел, а следом, в смущении сдернув кепку, шагнул молодой парень. Что-то в его грубой одежде сразу же выдавало моряка, и в просторном холле, где они оказались, он был явно не к месту. Он не знал, куда девать кепку, стал было засовывать ее в карман пиджака, но тот, другой, отобрал ее. Отобрал спокойно, естественно, и парень, которому тут, видно, было не по себе, в душе поблагодарил его. «Понимает, – подумал он. – Поможет, все обойдется».

Парень враскачку шел за тем, другим, невольно расставляя ноги, словно этот ровный пол то, кренясь, взмывал на волне, то ухал вниз. Шел вперевалку, и большие комнаты становились тесными, и страх его брал, как бы не задеть широкими плечами дверной косяк, не скинуть какую-нибудь дорогую вещь с низкой каминной полки. Он шарахался то вправо, то влево и лишь умножал опасности, что мерещились ему на каждом шагу. Между роялем и столом посреди комнаты, на котором громоздились книги, могли бы пройти шестеро в ряд, он же пробирался с опаской.

¹ Перевод С. Антонова. Цитата из стихотворения американского писателя, историка-любителя и этнографа Джона Гнейзенау Нейхардта (1881–1973) «Молитва юноши» (1907, ст. 1–4).

Могучие ручки болтались по бокам. Он не знал, куда их девать, вдруг в страхе отпрянул, точно испуганная лошадь, – вообразил, будто сейчас свалит груды книг на столе, и едва не наскочил на вращающийся табурет перед роялем. Он заметил, какая непринужденная походка у того, впереди, и впервые осознал, что сам ходит совсем не как все прочие люди. И на миг устыдился своей неуклюжести. На лбу выступили капельки пота, он остановился, отер загорелое лицо платком.

– Обождите, Артур, дружище, – сказал он, пытаясь прикрыть тревогу шутивным тоном. – У меня уж голова кругом пошла. Надо ж мне набраться храбрости. Сами знаете, не желал я идти, да и вашему семейству, смекаю, не больно я нужен.

– Ничего-ничего, – ободряюще сказал Артур. – Незачем нас бояться. Мы самые обыкновенные люди. Э, да мне письмо!

Он отошел к столу, вскрыл конверт и принялся читать, давая гостю опомниться. И гость понял и в душе поблагодарил хозяина. Был у него дар понимания, проникновения; и хотя чувствовалось, что ему сейчас отчаянно не по себе, дар этот ни на минуту не изменил ему. Он опять вытер лоб, осмотрелся, и теперь лицо уже было спокойно, только взгляд настороженный, словно у дикого зверя, когда он чует ловушку. Оказавшись в незнакомом окружении, со страхом думая, что же будет дальше, он не понимал, как себя здесь вести, ощущал, что ходит и держится неуклюже, боялся, что и каждое его движение, и сама его сила отдадут все той же неуклюжестью. Был он на редкость чуток, безмерно застенчив, и затаенная усмешка во взгляде Артура, брошенном поверх письма, резанула его как ножом. Он заметил этот взгляд, но виду не подал, ибо в ту науку, которую он превзошел, входило и умение владеть собой. Взгляд этот ранил его гордость. Он клял себя за то, что пришел, и, однако, решил, что, уж раз пришел, будь что будет, отступать он не намерен. Лицо стало жестче, глаза сверкнули воинственно. Все примечая, он спокойнее огляделся по сторонам, и в мозгу отпечатались каждая мелочь красивого убранства этой комнаты. Ничто не ускользнуло от его зоркого взгляда, широко раскрытые глаза вбирали окружающую красоту, и во-

инственный блеск в них уступал место теплому сиянию. Он всегда чутко отзывался на красоту, а тут было на что отозваться.

Его внимание приковала картина, писанная маслом. Могучий прибор с грохотом разбивается о выступ скалы, мрачные грозовые тучи затянули небо, а вдали, за линией прибора, на фоне грозового закатного неба – лодочный бот в крутом повороте, он накренился, так что видна каждая мелочь на палубе. Была здесь красота, и она влекла неодолимо. Парень позабыл о своей неуклюжей походке, подошел ближе, совсем близко. И красота исчезла. На лице его выразилось замешательство. Он смотрел во все глаза на эту, как ему теперь казалось, неряшливую мазню, потом отступил на шаг. И полотно вновь ослепило красотой. «Картина с фокусом», – подумал он разочарованно, однако среди множества захлестнувших его впечатлений кольнула досада: такую красоту принесли в жертву фокусу. Живопись была ему неведома. Прежде он только и видел *олеографии* да *литографии*, а они всегда четки и определены, стоишь ли рядом или смотришь издали. Правда, в витринах магазинов он видел и картины, писанные маслом, но стекло не давало всмотреться в них поближе.

Он оглянулся на приятеля, читающего письмо, и увидел на столе книги. В глазах тотчас вспыхнула тоскливая зависть и жадность, точно у голодного при виде пищи. Враскачку он двинулся к столу и вот уже любовно перебирает книги. Скользит глазами по названиям, по именам авторов, выхватывает обрывки текста, – ласкает том за томом и руками,

Олеография – многокрасочная литография, воспроизводящая тона и фактуру живописной работы, выполненной маслом; широко распространенный во второй половине XIX века способ репродукции живописных изображений.



Литография – типографский оттиск, полученный с помощью одноименной печатной техники, при которой краска под давлением переносится с плоской печатной формы (специального литографского камня) на бумагу. Открытая в конце XVIII века немцем Иоганном Алоизом Зенефельдером (1771–1834), техника литографии быстро приобрела популярность и вплоть до начала XX века широко использовалась для репродукции произведений графики и живописи.



Алджернон Чарльз Свинберн (1837–1909) – виднейший английский поэт Викторианской эпохи, чьи произведения отличаются оригинальностью вымысла, жанровое многообразие и богатство строческих форм.



У большинства центральных персонажей романа есть реальные прототипы. Так, в образе Мартина Идена легко узнаются черты личности и повороты биографии самого Джека Лондона; под именем Руфи Морз в романе выведена дочь британского горного инженера Эдварда Эпплгарта-старшего, возлюбленная Лондона Мэйбл Мод Эпплгарт (1873–1915), в пору их знакомства (состоявшегося, по-видимому, в 1895 г.) – студентка Калифорнийского университета в Беркли; прототип Артура – ее брат Эдвард (1876–1964).



и взглядом, – но лишь одну книгу он когда-то читал. Остальные книги и писатели незнакомы. Ему попался том *Свинберна*, и он начал читать подряд, стихотворение за стихотворением, и забыл, где он, и щеки у него разгорелись. Дважды он закрывал книгу и, придерживая страницу пальцем, еще раз смотрел имя автора. Свинберн! Надо запомнить. У этого малого глаза на месте, он все видел как надо – и цвет, и сверкающий свет. Кто же такой этот Свинберн? Давным-давно помер, как почти все поэты? Или еще живой, пишет? Он поглядел на титульный лист. Да, у Свинберна есть и другие книги. Что ж, утром первым делом надо сходить в библиотеку, разжиться его книжицами. Парень опять погрузился в чтение и забыл обо всем на свете. Он не заметил, что в комнату вошла молодая женщина. Опомнился, лишь услышав слова Артура:

– Руфь, это мистер Иден.

Он закрыл книгу, заложил указательным пальцем и, еще прежде чем обернулся, ощутил радостное волнение – не от знакомства с девушкой, но от слов ее брата. В этом мускулистом парне таилась безмерно ранимая чуткость. Стоило внешнему миру задеть какую-то струну в его сознании – и все мысли, представления, чувства тотчас вспыхнут, запляшут, точно трепетное пламя. Был он на редкость восприимчив и отзывчив, а живое воображение не знало покоя в беспрестанном поиске подобий и различий. «Мистер Иден» – вот что радостно поразило его, ведь всю жизнь его звали Иден. Мартин Иден или просто Мартин. И вдруг «мистер»! Это кое-что да значит, отметил он про себя. Память мигом обратилась в громадную камеру-обскуру,

и перед его внутренним взором заскользили нескончаемой вереницей картины пережитого – кочегарки и кубрики, стоянки и причалы, тюрьмы и кабаки, тифозные бараки и трущобы, и одновременно раскручивалась нить воспоминаний – как называли его при всех этих поворотах судьбы.

А потом он обернулся и увидел девушку. И вихрь призрачных картин растаял. Он увидел бледное воздушное создание с облаком золотистых волос и одухотворенным взглядом огромных голубых глаз. Он не заметил, что на ней надето, знал только, что одежда была такая же поразительная, как она сама. Хрупкий золотистый цветок на тоненьком стебле. Нет, дух, божество, богиня – земля не могла породить такую возвышенную красоту. Или, выходит, книги не врут и в высших сферах и впрямь много таких, как она. Ее вполне мог бы воспеть этот малый Свинберн. Видать, когда писал про ту деву, *Изольду* из книжки со стола, какая-нибудь такая и была у него на уме. Все это он увидел, почувствовал, подумал в одно мгновение. А меж тем все шло своим чередом. Девушка протянула руку и, прямо глядя ему в глаза, просто, будто мужчина, обменялась с ним рукопожатием. Женщины, каких он до сих пор встречал, жмут руку по-другому. Да по правде сказать, мало кто из них здоровается за руку. Поток воспоминаний, картин – как он знакомился с женщинами – хлынул, грозя его захлестнуть. Но он отмахнулся от них и смотрел на девушку. Отродясь такой не видал. Ему знакомы совсем другие женщины! И тотчас подле Руфи, по обе стороны, выстроились женщины, которых он знал. Бесконечно долгое мгновение стоял он посреди какой-то портретной галереи, где царила она, а вокруг расположилось множество женщин, и всех надо было окинуть беглым взглядом и оценить, и непреложной мерой была она. Вот вялые нездоровые лица фабричных работниц и бойкие, ухмыляющиеся девчонки из кварталов к югу от Маркет-стрит. Скотицы с ферм и смуглые мексиканки с неизменной сигаретой в углу



Изольда – героиня большой эпической поэмы Суинберна «Тристрам из Лайонесса» (1869–1882, опубл. 1882), написанной на сюжет знаменитой средневековой кельтской легенды о трагической любви Изольды, жены короля Корнуолла, и королевского племянника Тристана.

Южные моря – первоначальное и долго сохранявшееся в топонимическом и морском обиходе название части Тихого океана, лежащей к югу от экватора.



Уайтчепель – исторический район в Ист-Энде (восточной части Лондона), в Викторианскую эпоху – место жительства городской бедноты и изгоев общества, где процветали уличная преступность и проституция.



рта. Их вытеснили японки с кукольными личиками, жеманно переступающие ножками в туфельках на деревянной подошве; евразийки с нежными лицами, отмеченными печатью вырождения; пышнотелые, темнокожие, увенчанные цветами женщины *Южных морей*. А потом всех заслонила нелепая чудовищная толпа – неряхи и распустехи, слоняющиеся на панелях *Уайтчепеля*, опухшие от джина ведьмы из гнусных притонов и все непристойные, сквернословящие исчадия ада, гарпии в ужасающем женском обличье, которые охотятся на матросов, портовая грязь и нечисть, распоследние отребья и отбросы человечества.

– Присядьте, мистер Иден, – говорила меж тем девушка. – Я давно хотела с вами познакомиться, с тех самых пор, как Артур нам рассказал. Вы поступили так мужественно...

Он протестующе махнул рукой, пробормотал, мол, чего он такого особенного сделал, всяк на его месте поступил бы так же. Она заметила, что рука, которой он махнул, покрыта свежими подживающими ссадинами, взглянула на другую, опущенную руку – то же самое. Кинула и еще быстрый оценивающий взгляд, заметила на щеке шрам, другой виднеется из-под волос на лбу, и еще один уходит под крахмальный воротничок. Она подавила улыбку, заметив красную полосу на бронзовой шее – натерло воротничком. Не привык, видно, к жестким воротничкам. Своим женским глазом увидела она и его костюм – дешевый, неизящный крой, на плечах морщит и на рукавах тоже – выпирают бицепсы.

Отмахиваясь и бормоча, мол, ничего такого он не сделал, он подчинился ей, решил, надо где-то сесть. Успел восхититься непринужденно-

стью, с какой села она, и направился к креслу напротив, подавленный сознанием собственной неуклюжести. Ощущение это было ему внове. Всю жизнь, вплоть до сегодняшнего дня, он и знать не знал, ловкий он или неуклюжий. Ни о чем таком он никогда не задумывался. Он опасливо сел на краешек кресла, мучительно гадая, куда девать руки. Как ни положи, всё они не на месте. Артур пошел к двери, и Мартин Иден проводил его тоскующими глазами. Один на один в комнате с этим бледным неземным созданием он совсем растерялся. Ни тебе бармена – заказать выпивку, ни какого-ни то мальчонки – послать за угол за банкой пива, и таким вот приятным образом свести знакомство.

– У вас шрам на шее, мистер Иден, – заговорила девушка. – Как это случилось? Наверно, вы пережили какое-нибудь приключение.

– Один мексиканец полоснул, – ответил он, облизнул запекшиеся губы и прокашлялся. – Драка у нас была. Нож-то я у его выдернул, а он чуть не откусил мне нос.

Сказал он скупо, а перед глазами возникло красочное видение – знойная звездная ночь в Салина-Крус², белая полоса песчаного берега, огни грузовых пароходов в гавани, приглушенные расстоянием голоса пьяных матросов, толпящиеся портовые грузчики, разъяренное лицо мексиканца, звериный блеск глаз при свете звезд, и сталь впивается в шею, фонтан крови. Толпа, крики, два сцепившихся в схватке тела, его и мексиканца, перекатываются опять и опять, взрывают песок, а откуда-то издали томный звон гитары. Все это встало перед глазами, и трепет воспоминания охватил его – интересно, как бы все это получилось у того парня, который нарисовал шхуну там на стене. Белый берег, звезды, огни грузовых пароходов – вот бы здорово, а в середине, на песке, темная гурьба зевак вокруг дерущихся. И чтоб нож как следует виден, блестит в свете звезд. Но всего этого было не угадать по его скупым словам.

– Мексиканец чуть не откусил мне нос, – только и сказал он в заключение.

² *Салина-Крус – портовый город на юге тихоокеанского побережья Мексики, в штате Оахака.*

– О-о-о! – выдохнула она чуть слышно, будто издалека, и по ее чуткому личику он понял, что это не по ней.

Гик – горизонтальное или слегка наклонное рангоутное дерево, шарнирно прикрепленное одним концом (пяткой) к нижней части мачты и служащее для растягивания нижней кромки косого паруса; грота-гик – гик грота (одного из парусов на грот-мачте); топенант – снасть бегучего такелажа, проведенная через блок на верхушке мачты и привязанная к внешнему концу гика, чтобы он не упал на палубу при убранном парусе.



Таль – подвесное грузоподъемное устройство, состоит из двух блоков – подвижного и неподвижного блоков – и проходящего через их шкивы троса, один конец которого (коренной) закрепляется у одного из блоков, а другой (ходовой конец, или лопарь) тянут для подъема груза.



Тут и его опалило жаром, сквозь загар на щеках слегка проступила краска смущения, ему же показалось, будто щеки жжет, как перед открытой топкой в кочегарке. Видать, не положено говорить с порядочной девушкой об эдаких подлостях, о поножовщине. В книгах люди вроде нее про такое не говорят, а может, ничего такого и не знают.

Оба молчали, разговор, едва начавшись, чуть не оборвался. Потом она сделала еще одну попытку, спросила про шрам на щеке. И еще не договорила, а он уже сообразил, что она старается говорить на понятном ему языке, и положил, наоборот, разговаривать на языке, понятном ей.

– Случай такой вышел, – сказал он, потрогав щеку. – Ночью дело было, вдруг заштормило, сорвало топенант грота-гика, потом тали, гик проволочный, хлещет по чему попало, извивается, будто змея. Вся вахта старается изловить, я кинулся, ну и схлопотал.

– О-о-о! – произнесла она на сей раз так, будто все поняла, хотя на самом деле это была для нее китайская грамота, и она представления не имела ни что такое «топенант», ни что такое «схлопотал».

– Этот парень, Свинберн, – начал он, желая переменить разговор, как задумал, но коверкая имя.

– Кто?

– Свинберн, – повторил он с той же ошибкой. – Поэт.

– Суинберн, – поправила Руфь.

– Вот-вот, он самый, – пробормотал Мартин, вновь залившись краской. – Он давно умер?

– Да разве он умер? Я не слыхала. – Она посмотрела на него с любопытством. – Где ж вы с ним познакомились?

– В глаза его не видал, – был ответ. – Прочитал вот его стихи из той книжки на столе, перед тем как вам войти. А вам его стихи нравятся?

И она подхватила эту тему, заговорила быстро, непринужденно. Ему полегчало, он сел поудобнее, только сжал ручки кресла, словно оно могло взбрыкнуть и сбросить его на пол. Он сумел направить разговор на то, что ей близко, и она говорила и говорила, а он слушал, старался уловить ход ее мысли и дивился, сколько всякой премудрости уместилось в этой хорошенькой головке, и упивался нежной прелестью ее лица. Что ж, мысль ее он улавливал, только брала досада на незнакомые слова, они так легко слетали с ее губ, и на непонятные критические замечания и рассуждения, зато все это подхлестывало его, давало пищу уму. Вот она, умственная жизнь, вот она, красота, теплая, удивительная, такое ему и не снилось. Он совсем забылся, жадно пожирал ее глазами. Вот оно, ради чего стоит жить, бороться, завоевать... эх, да и умереть. Книжки не врут. Есть на свете такие женщины. И она такая. Он воспарил на крыльях воображения, и огромные сияющие полотна раскинулись перед его мысленным взором, и на них возникали смутные гигантские образы – любовь, романтика, героические деяния во имя Женщины – во имя вот этой хрупкой женщины, этого золотого цветка. И сквозь зыбкое трепещущее видение, словно сквозь сказочный мираж, он жадно глядел на женщину во плоти, что сидела перед ним и говорила о литературе, об искусстве. Он и слушал тоже, но глядел жадно, не сознавая, что пожирает ее глазами, что в его неотступном взгляде пылает само его мужское естество. Но она, истая женщина, хоть и совсем мало знающая о мире мужчин, остро ощущала этот обжигающий взгляд. Никогда еще мужчины не смотрели на нее так, и она смутилась. Она запнулась, запуталась в словах. Нить рассуждений ускользнула от нее. Он пугал ее, и, однако, оказалось до странности приятно, что на тебя так смотрят. Воспитание предостерегало ее об опасности, о дурном, коварном, таинственном соблазне; инстинкты же ее победно звенели, понуждая

перескочить через разделяющий их кастовый барьер и завоевать этого путника из иного мира, этого неотесанного парня с ободранными руками и красной полосой на шее от непривычки носить воротнички, а ведь он явно запачкан, запятнан грубой жизнью. Руфь была чиста, и чистота противилась ему; но притом она была женщина и тут-то начала постигать противоречивость женской натуры.

– Да, так вот... да, о чем же я? – она оборвала на полуслове и тотчас весело рассмеялась над своей забывчивостью.

– Вы говорили, этому... Суинберну не удалось стать великим поэтом, потому как... а дальше не досказали, мисс, – напомнил он, и вдруг внутри засосало вроде как от голода, а едва он услышал, как она смеется, по спине вверх и вниз поползли восхитительные мурашки. Будто серебро, подумал он, будто серебряные колокольца зазвенели; и вмиг, на один лишь миг перенесло в далекую-далекую землю, под розовое облачко цветущей вишни, он курил сигарету и слушал колокольца островерхой пагоды³, зовущие на молитву обутых в соломенные сандалии верующих.

– Да... благодарю вас, – сказала Руфь. – Суинберн потерпел неудачу потому, что ему все же не хватает... тонкости. Многие его стихи не следовало бы читать. У истинно великих поэтов в каждой строке прекрасная правда и каждая обращена ко всему возвышенному и благородному в человеке. У великих поэтов ни одной строки нельзя опустить, каждая обогащает мир.

– А по мне, здорово это, что я прочел, – неуверенно сказал Мартин, – прочел-то я, правда, немного. Я и не знал, какой он... подлюга. Видать, это в других его книжках вылезает.

– И в этой книге, которую вы читали, многие строки вполне можно опустить, – строго, наставительно сказала Руфь.

– Видать, не попались они мне, – объяснил Мартин. – Я чего прочел, стихи что надо. Прямо светится да сверкает, у меня аж все засветилось в нутре, вроде солнце зажглось, не то прожектор. Зацепил он меня, хотя, понятно, я в стихах не больно смыслю, мисс.

Он запнулся, неловко замолчал. Он был смущен, мучительно сознавал, что не умеет высказать свою мысль. В прочитанном он по-

³ Пагода – буддистский храм.

чувствовал огромность жизни, жар ее и свет, но как передать это словами? Не смог он выразить свои чувства – и представился себе матросом, что оказался темной ночью на чужом корабле и никак не разберется ошупью в незнакомом такелаже. Ладно, решил он, все в его руках, надо будет освоиться с этим новым окружением. Не случилось еще такого, чтоб он с чем-то не совладал, была бы охота, а теперь самое время захотеть выучиться говорить про то, что у него внутри, да так, чтоб она поняла. В мыслях его Руфь заслонила полмира.

– А вот Лонгфелло...⁴ – говорила она.

– Ага, этого я читал, – перебил он, спеша выставить в лучшем виде свой скромный запас знаний о книгах, желая дать понять, что и он не вовсе темный, – «Псалом жизни»⁵, «Эксцельсиор» и... все вроде.

Она кивнула и улыбнулась, и он как-то ощутил, что улыбнулась она снисходительно... жалостливо-снисходительно. Дурак он, чего полез хвастать ученостью. У этого Лонгфелло, скорей всего, книжек пруд пруди.

– Прошу прощения, мисс, зря я встрял. Сдается мне, я тут мало чего смыслю. Не по моей это части. А только добыюсь я, будет по моей части.

Прозвучало это угрожающе. В голосе слышалась непреклонность, глаза сверкали, лицо стало жестче, Руфи показалось, у него выпятился подбородок, придавая всему облику что-то неприятно вызывающее. Но при этом ее словно обдало хлынувшей от него волною мужественности.

– Я думаю, вы добьетесь, это будет по... по вашей части, – со смехом закончила она. – Вы такой сильный.

Ее взгляд на миг задержался на его мускулистой шее, бронзовой от загара, с грубыми жилами, прямо бычьей, здоровье и сила переливались в нем через край. И хотя он смущенно краснел и робел, ее снова потянуло к нему. Нескромная мысль внезапно поразила ее. Если коснуться этой шеи руками, можно впитать всю его

⁴ Генри Уодсворт Лонгфелло (1807–1882) – американский поэт и переводчик.

⁵ «Псалом жизни» (1838), «Эксцельсиор» (1841, опубл. 1842) – знаменитые стихотворения Лонгфелло.